

В. В. БИБИХИН
ЯЗЫК ФИЛОСОФИИ

В. В. БИБИХИН
ЯЗЫК ФИЛОСОФИИ

*Издание второе,
исправленное и дополненное*



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2002

ББК 87
Б 59

Библихин В. В.

Б 59 Язык философии. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Языки славянской культуры, 2002. — 416 с.

ISBN 5-94457-042-3

Исправленное переиздание курса, прочитанного в осенний семестр 1989 года на философском факультете МГУ им. Ломоносова. Рассматриваются онтологические основания речи, возможности слова, проблемы герменевтики. На классических примерах разбираются понятия логоса, мифа, символа, трансценденции, тела. Решается вопрос об отношении философии к богословию.

Книга предназначена для всех, кто увлечен философией и филологией, и может служить учебным пособием по истории мысли и философии языка.

ББК 87

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o М13, e-mail: koshelev. ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G•E•C GAD (fax: 45 86 20 9102, e-mail: slavica@gad.dk) has exclusive rights for sales on this book.

Право на продажу этой книги за пределами России кроме издательства «Языки славянской культуры» имеет только датская книготорговая фирма G•E•C GAD.

ISBN 5-94457-042-3



© В. В. Библихин, 2002
© А. В. Иванченко, художественное оформление, 2002

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	7
I. СМЫСЛ СЛОВА	18
1. Язык как среда	18
2. Поиски языка	21
3. Молчание	28
4. Язык и языки	44
5. Язык и знание	52
6. Слово и мысль	76
II. ЧЕРТЫ МЫСЛИ	84
7. Понимание	84
8. Язык и мир	92
9. Слово и ответственность	100
10. Строгость философии	103
11. Философское «надо»	114
III. ОПЫТ ЧТЕНИЯ	128
12. Правящая молния	128
13. Вопрос о символе	188
14. Антропоморфизм	219
15. Идея	254
16. Философия и религия	274

17. Душа и тело	300
18. Служанка богословия	321
19. Поэтическая философия	343
20. Русская мысль	373
Индекс	401

*"Ἄλλ' ἀκούσεσθε εἰκῆ λεγόμενα
τοῖς ἐπιτυχούσιν ὀνόμασι.*

ВВЕДЕНИЕ

Вещи говорят за себя. Что-то мешает нам услышать тему язык философии так, словно при философии, кроме философии есть еще и язык, что-то вроде ящика с инструментами или, может быть, материала для критики и обработки. Наша задача не в том чтобы обслужить со стороны языка философскую профессию, подав ей в руки новые орудия труда и сырье. У нас давно уже кончилась вера, будто за невразумительным, неряшливым или тягостным текстом, каким бы философским именем он ни назывался, может еще таиться важный подлежащий извлечению смысл. Философская мысль весит ровно столько, сколько весит философское слово. Причем сорное или пустое слово не *flatus vocis*, не пустое сотрясение воздуха. Оно по-разному, большей частью через беззащитные молодые умы, разрушает мир. Какой экологии ждать от человека, делающего грязь при первом прикосновении к вещам. Первое такое прикосновение — мысль и слово.

Отсюда вовсе не следует что надо поскорее учредить комиссию, расставить контрольно-пропускные пункты, проверять и анализировать, разбираться в сло-

весной грязи и, скажем, отбирать диплом философа у тех, кто губит нашу языковую и мыслительную среду. Материальный хлам всегда требует разбора, утилизации, словесный — очень редко. Всего разумнее спокойно оставить его там где он есть. Как ни расстроено наше сегодняшнее общество, каким безнадежным ни кажется дело философии, оно всегда только в том чтобы еще и еще раз пытаться дать слово мысли. Давать слово мысли к счастью не значит манипулировать лексикой и терминологией, подыскивать и оттачивать выражения, конструировать и структурировать тексты. Мысль, если она мысль, с самого начала уже есть то, чем оказывается в своем существе слово: она имеет смысл. Мысль поэтому всегда хранит исключительное отношение к слову. Философия несет в себе язык. Сочетание язык философии должно поэтому звучать примерно как свечение света. Легко догадаться, что нечто подобное должно произойти и с философией языка. Нужны специальные операции по искусственному разграничению понятий, чтобы удержать эти две на вид — в их грамматической форме — такие разные темы от слияния друг с другом и с мыслью. Язык философии в конечном счете это попытка дать говорить самой философии в наше время, в нашей — русской — языковой среде.

Чего мы явно не собираемся делать, так это вводить еще один раздел или подраздел в область так называемых философских дисциплин. Нам удобно то,

что несмотря на прилагавшиеся усилия предмет язык философии рядом, скажем, с историей философии или философией техники не сумел закрепиться как самостоятельный. Мы постараемся, чтобы он таким и не стал никогда. Мы не хотим выставить симметричный аналог дисциплине казалось бы утвердившейся, имеющей свою литературу и даже свою классику — философии языка. Вся эта литература относится по существу только к последним двум столетиям. Она немного мистифицировала нас, склонив думать, будто ее предмет издавна наблюдается на философском небе. На самом деле философы, благодаря которым мы знаем, что такое философия, никогда не ставили отдельно вопрос о языке. Осмысление имени, слова всегда переходило у них на сами вещи, и, с другой стороны, когда они говорили «язык», они не огораживали себя предметом, который описан в учебниках по языкознанию: через язык жестов, язык молчания и язык природы они быстро переходили опять же к самим вещам, к миру, как Платон, заведя речь об элементах слова, думает о стихиях, из которых словно огромная прекрасная речь составлен мир. Только усилием каталогизаторов удалось вычленить у Платона, Аристотеля, Гегеля их «воззрения на язык», примерно как теперь любители занимательного начали выискивать у философов, преимущественно новооткрытых отечественных, их «воззрения на красоту» и «высказывания о любви», печатая эти подборки в расчете на то что любовь интересует всех. Не то что

мысль этих философов, их взгляды на любовь из таких подборок извлечь нельзя. Философские антологии на актуальную тему останутся лишь бессмысленными обрывками чужой обобранной речи. Солидная на первый взгляд философия языка оказывается, если взглядеться, поделкой последнего века или двух. Ее философский статус, точнее способ выкраивания философией языка своего предмета, остается сомнительным и во всяком случае таким, который свободной, да и просто нескованной мыслью будет нарушен. Она не станет выяснять отношения означающего к означаемому, значения к смыслу, смысла к референту, к чему относится означаемое, за непроясненностью и принципиальной непрояснимостью всех этих *entia rationis*, мыслительных конструкторов. Не сковавшая себя заранее мысль не останется на плоскости лексики и грамматики, скользнет к самим вещам и встретит там, возможно, хайдеггеровский язык, дом бытия.

Только кажется, будто особенно после Хайдеггера, Витгенштейна, Гадамера, Жака Деррида на повестке дня стоит и просится в ряд философских дисциплин тема языка философии — теперь формулируй предмет, очерчивай проблематику, суди предшественников, разрабатывай методологию, оценивай научную новизну диссертаций, вычисляй их потенциальное народнохозяйственное значение. Чувство тоскливой бессмысленности задушит нас на этом пути задолго до того как мы начнем душить других своими классификациями, систематизациями, концептуализация-

ми. Не надо думать что область исследования можно выбирать. Простор академической деятельности на самом деле воображаемый. Это мнимая свобода — заниматься тем или другим предметом, поднимать ту или другую тему, создавать новую философскую дисциплину. Мы упустили так время и самих себя в нашем *настоящем* отношении к философии, которая увлекающая, соблазняя, отпугивая нас уже успела, в чем мы редко признаемся, задеть нас в том, что для нас самое существенное, что есть мы сами. Вся актуальность философии в том: она что-то делает с нами, говорит важное, единственным образом касающееся самого нашего существа, хочет открыть нам нас чтобы мы нашли себя. Обращение философии к нам, к нашему существу и есть ее язык. Если она говорит нам о том, что для нас, мы знаем и чувствуем, открывает нас самих, то прежде всего надо все-таки вслушаться в ее говоримое. Малейшая примесь распорядительности с нашей стороны сделает наше занятие бессмысленным. Язык философии это не предмет и не тема исследования, это то, в чем мы хотим расслышать наш родной язык, заглушенный наружным шумом.

То, о чем мы пытаемся думать, названо в «Софисте» Платона. Мысль есть слово, будь то говорящее молчание, когда мысль разбирается в самой себе, высказывание или именование. До произнесения слышимых звуков, до определения значений, когда мысль еще не знает, *что* есть, она уже говорит неслышимое *есть* или *нет*. Раньше явной речи совершается испод-

воль утверждение и отрицание бытия и небытия. Ранние да и нет предшествуют всему настолько, что если бы мысль задумала увидеть и назвать что-то еще более раннее, она все равно начала бы своей первой речью, именованием сущего и ничто. Как бы глубоко человек ни заглянул в себя, он видит речь, язык, ответ да и нет на вызов бытия и небытия. Причем вовсе не так, что бытие именуется бытием, а небытие небытием. Это, вздыхает Платон, было бы счастливым решением всех вопросов, избавлением от всех сомнений. Нет, всякое утверждение и отрицание, *φάσις* и *ἀπόφασις* — это уже суждение, пусть молчаливое, т. е. смешение, сплавление, сочетание, *σύμμιξις* (264 b), где мысль рискуя совершает поступок, который может оказаться верным и неверным, добрым и злым. Бытие и небытие, правда и неправда, добро и зло затянуты узлом в раннем, еще молчаливом слове мысли, слове-мысли, и распутать этот узел может тоже только мысль. Вчитывающийся в эти места Платона о слове и мысли, о слове как мысли не должен стыдиться, если голова у него закружится от раскрывшейся бездны. У молодого Сократа кружилась голова, когда приехавший в Афины Парменид развернул перед ним антиномии бытия и небытия, единого и многого. Не надо думать, будто теперь какая-то «современная» научная зрелая философия придумала средство, избавляющее от головокружения над бездной. До сих пор единственный надежный способ уберечь себя — это отвернуться или закрыть глаза. Но,

похоже, человек, чтобы быть человеком, должен стоять на краю и заглядывать в пропасть.

«Софист» и «Теэтет» нужно читать как пропедевтику к Пармениду, не герою одноименного диалога, а живому мыслителю. И пожалуй «Парменид» — главный среди текстов Платона, на которых стоит неоплатонизм, а с ним средневековая христианская философия. Что касается запаса мысли, содержащегося у самого Парменида, он не только не израсходован, но, похоже, открывает все новые стороны и новую энергию. Диалектика ранних работ Алексея Федоровича Лосева — это восстановление остроты апоретики платоновского «Парменида». Платон у Лосева раздваивается. Христианский мыслитель глядит свысока на языческого философа, уверен, что превзошел его и бранит, и в то же время мыслью Лосева незаметно правит Платон, не пошатнувшийся, непревзойденный в своих антиномиях Целого.

Чистая платоновская мысль — не другая, а та самая, о которой христианским поэтом было сказано что она премудрость, «афинейская плетения растерзающая». А «любомудрые хитрословесные афинейские плетения»? Это древнегреческая классическая философия, т. е. прежде всего тот же Платон. Христианские мыслители, и Лосев не последний, топтали и топчут его почти две тысячи лет, как потоптал его Аристотель, поступивший с Платоном как жеребенок с родившей его кобылой. Но как Аристотель в своей войне против платоновских идей — это восстано-

ние чистоты платоновского смысла, так возносящаяся над Платоном мысль христианского благочестия — это, поскольку она мысль, платонизм. Мы только реже видим в ней, уверившейся в своей исключительности, ту трезвую самоотчетность, которая почти никогда не изменяла старому Платону. Когда русское имяславие и его защитники П. А. Флоренский, А. Ф. Лосев, С. Н. Булгаков говорят, поднимая непроясненный язык до онтологической весомости, что «имя Божие есть Сам Бог, хотя, конечно, Бог не есть имя, далеко не только имя», то как не хватает здесь платоновского Сократа, чтобы он призвал создателя этой глубокомысленной формулы не успокаиваться на ее загадочной диалектике, вообще не верить никакой ахинее, даже если это благочестивая ахиня, даже если это очень благонамеренная и культурная ахиня, а, отпустив ум на свободу, спрашивать и спрашивать то, что само собой спрашивается. Платон предупредил в «Софисте» 244 d авторов формулы «имя Божие есть Бог». Если имя есть сама вещь, то, произнося имя вещи, мы про-из-носим прямо и непосредственно ее. Тогда, если бы вещь была только именем, получилось бы, что именуя ее мы произносим имя *ничего*, коль скоро вся вещь перешла в имя и за именем в ней ничто. Если же имя есть все-таки имя *чего-то*, это последнее остается за границей имени, имя до него не дотягивает, ускользнувшая от имени вещь остается безымянной. Через эту поставленную Платоном решетку должно было бы пройти всякое рассуждение об имени.